Кублановский Юрий

04.09.98
Б9

Независимая газета. – 1998. – 4 сент. – с. 12.

ФОКУС СВОБОДЫ

О поэте Юрии Кублановском и его стихах

Виктория Шохина

Юрий Кублановский (р.1947) рос в Рыбинске, учился в Москве, работал на Соловках, в Кирилло-Белозерском монастыре, в Мураново. Эмигрировав в 82-м году, жил в Париже и в Мюнхене. На радиостанции «Свобода» вел передачу «Вера и слово» – о метафизике в русской литературе. Член редколлегии «Вестник РДХ». Вернулся в Россию в 91-м. Первую его книгу «Избранное» (1981, Ann Arbor), как и сборник «С последним солнцем» (1983, Paris), представлял Иосиф Бродский.

В России самая полная его книга стихов – это «Числа» (1994), а самая изящная – «Памяти Петрограда» (1994). Последние публикации в журналах – «Я купил двух горлиц», «Роза под аспирином» («Новый мир», 1997, №1, 11), «Автобиографические фрагменты» («Знамя», №9, 1997 и №6, 1998). Член редколлегии «Нового мира».

ПОКОЛЕНИЕ Юрия Кублановского – это те, кто родился в промежутке между окончанием войны и XX съездом. Дети победителей, младшие братья шестидесятников, Оттепель они воспринимали не как «десятилетие советского донкихотства» (Василий Аксенов), а как данность. Невозможно представить кого-нибудь из них на трибуне Пленума ЦК – шестидесятники переживали такие события личностно и страстно. Трудно – в штате или редколлегии даже самого либерального издания...

ШПАГОГЛОТАТЕЛИ КНИГ

Они не могли найти себе ниши в социуме, и именно из них начало рекрутироваться «поколение дворников и сторожей» – эскапистов с дипломами серьезных факультетов. Они плохо справлялись с обычной жизнью. Мало зарабатывали, много пили, не видели особого смысла в таких (буржуазных) ценностях, как семья, быт и т.п. Но их отрочество и юность счастливо совпали с книжным бумом в СССР, и книги они впитывали в себя естественно, как воздух: *«отрок пылающий, отрок неправый/ был под хмельком, под гебистской облавой/ шпагоглотателем книг»* – напишет потом Кублановский («Манеж», 1976, 1992). Это тот круг, та среда, где своих узнавали по цитатам. Цитатой, надо полагать, все и кончится...

Получи они вовремя доступ к аудитории, в русскую поэзию пришел бы какой-нибудь новый Серебряный век. Но входы и выходы были перекрыты намертво – непроницаемость социума тоже была заложена в судьбе. В результате, будучи внутренне абсолютно свободными, они эту свободу могли реализовать лишь в очень малой степени – среди своих. (Платили же дорого.) Сшибка породила общую для поколения экзистенциальную тоску. Между неестественно долгой юностью и внезапно наступившей зрелостью провисло звено, необходимое для того, чтобы чувствовать себя адекватно, – чего-то не хватило. И никуда не денешься...

Юрий Кублановский родился и рос в Рыбинске, *провинциальном* купеческом городе в верховьях Волги. Как и все литературные подростки той поры, он взахлеб читал «Звездный билет» и «Треугольную грушу». Книга «Люди, годы, жизнь» стала катехизисом: «Я заучивал имена авангардистов, всех тех, о ком бы без Эренбурга я б еще не скоро узнал». В апреле 63-го увидел в «Правде» покаянное письмо Аксенова и – расстроился: «Я тогда решил, что если все эти люди, на которых я как-то внутренне рассчитываю, произведения которых я обожаю, начнут колоться, то и вообще тогда жить не стоит». *«В ветхом брезенте залатана дырка/ – вот атрибуты проезжего цирка./ Я его в детстве с отцом посещал/ Цирк переехал. А я обнищал./ В пятидесятые жалкие годы/ Он нам показывал фокус свободы»*. («Цирк», 1969)

Поехал в Москву со стихами, пошел к Андрею Вознесенскому, который жил тогда напротив Елоховского собора. Спустя годы, работая здесь же дворником, вспоминал, «как 15-летним щенком шел к Вознесенскому в валенках и ушанке, и при этом воспоминании лед ломом долбил с еще большим остервенением...» Но почему? Ведь знаменитый поэт стихи подростка из Рыбинска похвалил. Да еще успокоил, пообещав, что никогда не пойдет по стопам Аксенова.

Разыскав Эренбурга, *отрок* поразил старика, отчеканив на вопрос о любимых писателях: «Я люблю трех писателей: Натали Саррот, Мишеля Бютора и Алена Роб-Грие». Работая слесарем, закончил в Рыбинске школу экстерном и каким-то чудом поступил на престижное искусствоведческое отделение истфака МГУ. Диплом писал по станковому творчеству Николая Сапунова – Серебряный век манил к себе, как заповедный край...

Подружился с Леонидом Губановым (1946–1983) и Владимиром Алейниковым, вместе основали СМОГ. Им хотелось печататься, но они отчетливо понимали, что это невозможно. Едва ли не единственной публикацией Кублановского стало стихотворение в «Дне поэзии – 1970». Да, печататься хотелось, но от обивания порогов редакций решено было, отбросив молодые упованья, отказаться. «Писали не для того, чтобы получить в обществе статус, заработать, угодить публике, поэзия была для нас самовыражением в чистом виде», – подытоживает Кублановский сегодня («ЛГ», 12.04.97). В нем оказалось меньше безумия и бездумия, но больше здорового начала, чем у его товарищей: «Я бросил пьянство, которым прилежно занимались смогисты, резко отошел от богемной жизни». Он стал сознательно вырабатывать в себе серьезное отношение к поэзии.

Поворотным моментом внутренней биографии поэта оказались Соловки, куда в 72-м он поехал работать экскурсоводом: «...Чувствовались две вещи: колоссальные эманации, идущие от этого духовного очага России, и чудовищный первый концлагерь, организованный по декрету Ленина в 1918 году». История, переживаемая, как личный опыт, обращается в безнадежную музыку многостопной строки, где каждая цезура – сдерживаемое рыдание:

Соловецкие волны, на вас не ступлю никогда:
мне не надо от вас ни рассказов про смерть
торопливых,
ни гремучего выброса окровавленного льда,
ни осклизлого камня с наростами трав
долгогривых,
...ни стрелецкой щепы, глубоко занозившей
покров
из сухих лишаев и довыспевшей бурой
брусницы,
согревающий осенью мощи бессчетных рабов
наподобье хранимой в надежном кремле
плащаницы.

(Июнь 1981)

Именно на Соловках мировоззрение Кублановского «сформировалось как конкретно христианское и даже воцерковленное». Сознание его ориентируется на Бога, имеет Его в виду (если воспользоваться секуляризованным языком), однако христианским поэтом он себя не считает. И не любит, когда его причисляют к таковым. Рискну предположить, что ему импонирует «двусмысленная духовность» Георгия Иванова. Хотя пробуждающийся в нем порой моралист заставляет, например, воспринимать «Хорошо, что нет Царя...» как грех «красного словца» и т.п. (Тогда как говоря: «Хорошо» – Г.Иванов кричит с болью нечто совсем противоположное!)

В 76-м году Кублановский запускает в самиздат письмо, написанное к двухлетию высылки Солженицына – «Ко всем нам». Он предлагает интеллигенции задуматься над книгой «Из-под глыб» (1974), на страницах которой сошлись Солженицын и Агурский, Шафаревич и Светов, Барабанов и Борисов... Основной ее пафос – «нравственная революция». И слова Солженицына: *«История – это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно»* – совпадают с регистром души Кублановского.

Пожалуй, нет у нас поэта, чьи стихи были бы в такой степени насыщены ощущением исторического. Мрачная (и бездарная!) метафизика русской истории переживается им личностно, здесь и сейчас, с обреченной включенностью в цепь событий. *«То ли жизнь прошла, то ли голос сник, / даже скулы мне тишина свела. / Или Павла вопль, Александра крик, / заморозили, вот и все дела»* (1976). От Суздальской Руси до петровской, от Петра до *«картавого татарина»*, от Петербургской утопии до утопии коммунистической – вот пространство стиха, среда обитания его лирического героя. (Некоторые критики считают, что «отношение Кублановского к истории и географии – ирония».)

В публицистических высказываниях Кублановский может утверждать, вслед за Солженицыным, что наша история после 17-го не является «продолжением традиционной русской истории». Однако стихи его являют непрерывность исторических событий, уходящую в дурную бесконечность: что тебе древние князья, что декабристы, что коммунисты, что демократы...

«Интимная сродненность с историей» (Солженицын) провоцирует и публицистичность мгновенного отклика – когда история творится здесь и сейчас: *«Может, и перекрасим / русский брак в бардак,/ выплеснув сурик на земь./ Но не забудем, как/ ветру с охрипшей глоткой/ вторил сушняк листвы./ Прямой наводкой,/ прямой наводкой/ в центре Москвы* – («Четвертое октября», 1993).

Он всегда ощущал себя в сердцевине заговора. *«Не зря Всевышнего рука / кладет клеймо на нас убогих: / есть нити, тайные пока, / уже связующие многих»*. (1976). И был притом беспечен. (Мои добрые знакомые, Э. и Д., в 74-м году находились в состоянии романа и, как водится, искали, где бы приютиться. Э. повезла любимого к своему другу и коллеге Кублановскому в Мураново, где он работал в Музее Тютчева. Приходим, рассказывает Д., дверь настежь, Юры нет... По всей комнате разбросана сам- и тамиздатская литература, на срок до 7 лет тянет. Посидели часа три, почитали и уехали. Кубик так и не появился...). В сущности в сердцевине тайного заговора он и находился. После письма «Ко всем нам» Кублановский был взят под наблюдение КГБ, потерял возможность работать по специальности. Служил дворником, сторожем, истопником. Как-то попросил Евтушенко устроить его сторожем к Наде Леже, которая строила в Переделкине роскошную дачу. Вспоминает, как Евтушенко строго сказал: «Надя возьмет только члена партии...»

И вновь судьба сводит его с Аксеновым: тот привез Кублановскому письмо от Карла Проффера, собиравшегося издавать в «Ардисе» его «Избранное», и пригласил принять участие в затевавшемся тогда «МетрОполе». Вот он на фотографии «метрОпольцев», второй слева в последнем ряду, между Юрием Карабчиевским и Евгением Поповым. Вроде со всеми вместе, но все равно на отшибе. *«Месяц бледен и Врубель ревнив. / У маэстро повадки изгоя...»* «Метрополь» для Кублановского не был фрондой, лишь подтягиванием к относительному официозу. «Я дал туда один стишок со строчкой *«где партийцы воруют у всех понемногу»*, /.../ редакторы успели спохватиться и это вырубить». Аксенов в свою очередь вспоминает: «Мы специально старались быть очень умеренными... мы как бы протягивали им руку – советской литературе».

ПЕСНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Кублановского это гипотетическое рукопожатие мало заботило. Его неприятие совдепии – вплоть до ненависти – было органическим. Выношу за скобки политическое поведение (хотя для ст.70 хватило бы!) – речь идет об идеологии, провоцирующей поэтическое высказывание. Все советское воспринимается как чужое и чуждое, угрожающее, омерзительно страшное. *«Рвотное передовиц», «и бычья кровь советской власти»*... Он – типичный внутренний эмигрант, белогвардеец, если угодно. И стихи у него – белогвардейские, как будто написанные «на той единственной Гражданской», где он – на стороне белых:

...Вот здесь бы лежал я под цоканье злого
отряда,
тачанкой отличного лишь от панургова
стада,
лицом костенея и снег собирая в охапку
бессильной рукою, как гнусную красную
тряпку.

(«Зимняя сказка», 1979)

В стихах – глубокое сродство с «Лебединым станом» Цветаевой. Ноты гимна-реквиема Белому делу звучат спустя десятилетия после поражения еще пронзительнее и безнадежнее:

Белое – это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.

(1986)

Когда-то Сергей Булгаков сказал (к сожалению, слишком точно): «Интеллигенция в союзе с татарщиной погубит Россию». Для Кублановского союз этот воплощается прежде всего в личности Ленина – *«симбирского шакала»*, *«картавого татарина»*, – которого он воспринимает, как личного врага. И – с чувством поражения: *«Не торопи расправу, / не гоношись в ночи. / «Ты победил, картавый, / ты победил», – шепчи»*.

Подневольная Русь, крепко спящая под *«новыми татарами»*, *«одряблой кагал татарвы»*, безнадежная убогость Третьего Рима – вот «картина мира», возникает из стихов Кублановского. Многостопная строка его стиха вдруг надрывно и великолепно перебивается малостопной. И – выходит, на лету подхватывая бытовые подробности, к трагической коде:

Упрятать бы в тюрьмы египетских тварей,
чтоб мы не казались рабами
себе же, – покуда картавый татарин
не хряпнул нас медными лбами!
Но поздно. И в горле застрявшая корка...
И в спину летящая скалка...
Петропольский скворка – скрипучая створка
над миром, которому Бога не жалко.

(«Скажи, свидригайловский скворка унылый...», 1979)

На две русские столицы Юрий Кублановский глядит, культивируя свой провинциализм, будто со стороны. Петроград (предпочтение отдается этому предреволюционному имени) для него – символ чухонства, но и духа империи, и державности. Этот город, со своим псевдоевропейским подтекстом, нравится ему куда больше, чем Москва. И стихи его производят порой впечатление идеально акмеистских, эталонно петербургских. Бродят в них тени Серебряного века, свистят пути воспоследовавшей (и бесконечной) Гражданской войны. Наверное, поэтому в эмиграции, куда Кублановский попал в 82-м, ему ближе по духу оказались представители Первой волны. (Нечто похожее произошло и с петербуржцем Дмитрием Бобышевым.)

Москва же – символ все той же татарщины, средоточие азиатчины. В этом Кублановский сходится с Мандельштамом, который в начале 30-х с ужасом почуял буддийскую сущность первопрестольной. У Кублановского: *«восток пришел в Москву и победил Москву»*; *«Постыл Москвы караван-сарай»*; *«Пыльца Японии в гнилом цветке Москвы»*; *«а я вернусь домой – в каморку с тараканом, к восточным деспотам в полон»*. Его отношение к Москве – в изобретенном слове, примечательном уже самой своей непомерной долготой: *«Еще стволы морозцем лачило/ в лжебелокаменнодвуликой...»*

«Мой язык сформирован русской провинцией», – говорит Кублановский. Если под этим понимать некую точку отсчета, возможно, так оно и есть. Но понятно изумление Бродского перед «технической оснащенностью» его стиха – он считал, что Кублановский обладает «самым насыщенным словарем после Пастернака». В словаре поэта, действительно необычайно богатом, совершенно естественно сопрягаются разнообразные пласты речи – от диалектизмов и архаизмов до специальных (редких) терминов. Предпочитая традиционные размеры, он пользуется дивно усложненным синтаксисом – на пределе возможного, но умея вовремя остановиться. И подо всем этим, на глубине, звучит, задавая общий строй, русская песня, надрыв жестокого романса – не зря в стихах то цитатой, то упоминанием настойчиво возникает тень Некрасова, земляка, волгаря...

Суть (нерв) поэзии Кублановского – напряженно-внимательное отношение к родине. Именно ему принадлежит великое стихотворение о России в XX веке – «Россия, ты моя!..» Написано оно до эмиграции (1978), но вбирает в себя, предчувствуя, и опыт изгнания, и опыт возвращения. И весь крутой наворот самых противоречивых чувств, которые только может испытывать русский человек. Отчаянно безнадежное, очень точное, гениальное стихотворение.

Один из немногих эмигрантов Третьей волны, он вернулся сюда сразу и навсегда, без сожаления оставив «священные камни Европы» – европейцам. Обстоятельства сложились так, что теперь Кублановский живет в Переделкине, хотя ему, наверное, больше подошло бы Комарово (если не Питер).

Юрий Кублановский принадлежит к числу тех редких поэтов, кто возгоняет поэзию до вершин, на которых ей и пристало обретаться.

С другой стороны, последние стихи Кублановского – это по преимуществу проживание истории, творимой здесь и сейчас: в них и *солнцевская братва*, и *«лужицы темной крови и /офисы и малины»*; и прочие грустные приметы нашего безгеройного времени. Он, поневоле пропустивший какое-то важное звено между юностью и зрелостью, ощущает себя, кажется, в онтологическом тупике. Находясь притом в поэтической силе: *«... уже светает; припозднился:/ листва осыпалась дотоле/ Когда–то ведь и я родился/ при Джугашвили на престоле./ Жизнь прожужжала мимо уха./ На кнопку надавлю упрямо./ Слепая, мне по грудь, старуха/ не сразу и откроет... Мама»*.